

Станем надеяться, что наконец наши писатели, из коих особенно некоторые молодые одарены прямым талантом, сбросят с себя поносные цепи немецкие и захотят быть русскими. Здесь особенно имею в виду А. Пушкина, которого три поэмы, особенно первая<sup>5</sup>, подают великие надежды. <...>

## <Из дневников, писем и заметок 1832–1836 гг.>

*1832. 26 января*

Не знаю, удастся ли мне ясно выразить мысль, которая с некоторого времени носится в голове моей и мне кажется довольно основательною. По Шеллингу, искусство есть не что иное, как Природа, действующая посредством (*durch das Medium*) человека<sup>1</sup>. Итак, всякое произведение искусства должно быть вместе и произведением природы вообще, природы человека в частности, природы творящего художника в особенности: оно должно быть зарождено в душе того, кто производит, должно быть *необходимым* следствием его способностей, склонностей, личности; должно соответствовать потребностям его века и отечества (времени и местности, составляющих в совокупности *частное* проявление человечества); наконец, должно быть основано на мировых, неизменных законах творческой силы и творимого естества. Истину сего правила относительно к моему лицу я испытал в течение всей моей поэтической жизни: чем хладнокровнее, чем точнее мои планы были обдуманы, тем менее они мне удавались; напротив, всякий раз, когда я следовал голосу мысли, зародившейся в глубине моего Я, поразившей меня незапно, когда сообразовался с теми мгновенными вдохновениями, которые навевались на меня обстоятельствами, и только не терял из виду главной меты своей, — тогда успех неожиданный и непредвиденный увенчивал труд мой.

*1834. 25 июля*

<...> Булгарина письмо о русской литературе<sup>1</sup> — само по себе разумеется, что тут нет даже Полевого<sup>2</sup>, — однако, несмотря на многое и многое фальстафское, есть же кое-что, по крайней мере что-то похожее на несколько шутовскую, порою почти бесстыдную искренность; сверх того, отголосок нынешних требований если и не людей, мыслящих

ясно, отчетливо, самостоятельно, все же людей, хотя чувствующих порою силу прекрасного, способных порою быть увлеченными вдохновением поэта... <...>

Упрекает Булгарин, между прочим, друзей Пушкина за то, что они хотели сделать из него только артиста, живописца и музыканта, — говорит, что «писатель без мыслей, без великих философических и нравственных истин, без сильных ощущений — есть просто гударь, хотя бы...» и пр. Но без сильных ощущений и мыслей можно ли быть и музыкантом, можно ли быть и живописцем? А что Булгарин разумеет под *великими* нравственными истинами — мы знаем! Его величие не слишком-то велико, а, кажется, ему нужна дидактика в новом платье, от которой да сохранит нас Бог!

#### <1834. Письмо Ник. Г. Глинке>

<...> Ни о чем в свете, кажется, я столько не думал, как о высоком искусстве, — об искусстве, которому посвятил жизнь свою, посвятил ее, может быть, без всякой пользы. Без пользы? Конечно, если разумеешь под пользою выгоды житейские или даже самые наслаждения славою: имя мое забудется, ибо, хотя, может быть, я и был бы чем-нибудь со временем, но все мои произведения незрелы, несовершенны. Несмотря на то, никогда не буду жалеть о том, что я был поэтом; утешения, которые мне доставляла поэзия в течение моей бурной жизни, столь велики, что довольно и их, — довольно, говорю, для меня и их, и я считал бы себя неблагодарным, если бы требовал от поэзии для себя еще другого чего... Поэтом же надеюсь остаться до самой минуты смерти, и, признаюсь, если бы я, отказавшись от поэзии, мог купить этим отречением свободу, знатность, богатство, даю тебе слово честного человека, я бы не поколебался: горесть, неволя, бедность, болезни душевные и телесные с поэзией я предпочел бы счастью без нее. <...>

#### <1835. 5 марта. Письмо Ник. Г. Глинке>

<...> Позволено ли поэту *изображать* порок? — Между словами *изображать* и *защищать* — большая разница. *Изображать* поэт все может и даже должен, иначе он будет односторонним; но представлять порок в привлекательном виде — преступление не перед одною нравственностью, а, к счастью, и перед поэзией; впрочем, я едва ли могу поверить, чтобы, кроме совершенно помешанного, кому могло вздуматься прямо хвалить *грабеж, насилие, пьянство, распутство* etc. Есть другие пороки, которые с первого взгляду менее грязны, и есть писатели, которые старались их представить заманчивыми: расслабление нравов

семейственных, которые, впрочем, тоже распутство, да только более тонкое, безверие, эгоизм нашли, напр<имер>, защитника в Коцебу<sup>1</sup>. Но поэт ли Коцебу? — Мне кажется, что унижение души, необходимо нужное, чтобы найти эту мерзость прекрасною, совершенно несовместимо с вдохновением, доступным — по-моему — только для души высокой или по кр<айней> мере влюбленной в высокое. Перейдем к частностям. Позволены ли поэту картины сладострастные? — Этот вопрос довольно сложен: не забудь, что он разрешается только самою поэзией, а не нравучением; ибо теория, которая свободное искусство покоряет чему-нибудь постороннему, вместе уничтожает самое искусство. Если картина такова, что смущает нас, что возбуждает в нас скотскую похоть, — будь уверен, что тут и самая поэзия улетела: дело поэзии одухотворять вещественную природу, а не подавлять дух веществом. Впрочем, нередко виноват не поэт, а сам читатель: его воображение уже грязно, — вот почему оно марает картину поэта. Не смешон ли вопрос: благопристойная ли нагота в Венере Медицейской? и что скажешь о ханже или фавне, который вздумает разбить дивный истукан, дабы он не соблазнял его? Те же нагие истуканы — большая часть сладострастных картин древних. Гомер, напр<имер>, говорит о любви Гелены и Александра<sup>2</sup> так же бесстрастно и спокойно, как о щите Ахиллеса; он говорит о ней, потому что того требует его повесть, а не думает любоваться этою картиною, не мешкает на ней, не старается возбудить в слушателе (в его время еще читателей не было) вождление. Иное дело новые; напр<имер>, Виланд<sup>3</sup>; для него сладострастная сцена — находка; он до гадости медлит на самых мелочах, на самых неблагопристойных подробностях. Но, повторяю, поэт ли Виланд? — Впрочем, сладострастные картины и древних не советую читать никому, кто к ним не приступит с намерениями и с душой художника. Другая крайность — антипоэтическая — представлять, напр<имер>, в драме, в романе лицо порочное совершенным дьяволом, променять долг живописца на роль проповедника (говорю роль, ибо для поэта проповедовать — только роль, сверх того роль не в его характере); разумеется, что и тут поэзию убивают наповал, а вместе с нею и истину, потому что человеческих дьяволов нет, не было и никогда не будет. Представляй, художник, природу, какова она есть; не хвали порочного, но не лишай его и того, что в нем не порок, что в нем прекрасно. Мщение — самое адское и страшное чудовище, но в душе мстительной есть энергия, совершенно не зависящая от самой мстительности, хотя мстительность и привита к ней; не лишай же Маргериты de Valois<sup>4</sup> этой энергии; будь она фурия, но фурия мощная. Нравственность — самое святое дело; но что бы ты сказал о портном, который, не сшив тебе в срок мундира, стал бы говорить тебе: «Николай

Григорьевич, не горячитесь! вспыльчивость — порок». Не так ли, — ты бы отвечал ему: «Предоставь моему духовнику читать мне поучения; твое дело — игла, нитки, ножницы». Тот же портной — поэт: его дело — изображать, а не учить. Но польза поэзии? Польза, друг мой, великое слово, если только понять как должно это слово. Часто поэт полезнее всякого проповедника: не могу поверить, чтобы тот легко стал мерзавцем, кто раз полюбил наслаждения, какие дает нам поэзия, — разумеется, истинная. Поэзия возвышает душу, отвлекает ее от мелких хлопот, попечений, суеты ежедневной жизни, переселяет ее в мир красоты, покоя, картин и звуков и тем самым омывает, облагораживает ее — вот польза поэзии; другой не знаю и не постигаю. Может ли существовать нравоучительная или религиозная поэзия? О первой скажу решительно: нет; где учение — там уж нет поэзии. Поэзия религиозная совсем не то: если она невольное излияние чувств, если кто обращается к Богу, говорит об истинах религии, потому что иначе не может, — он, без сомнения, — поэт, и в самом высоком значении этого слова. Но очинить перо, разложить бумагу и сказать самому себе: «Напишу-ко я поэму дидактическую, в которой поражу всех противников католической церкви», — в нравственном отношении очень похвально, но вместе очень и не поэтически; а это-то и сделал Louis Racine<sup>5</sup>. А это-то и забывают очень часто наши Аристархи<sup>6</sup>. Впрочем, бог с ними, с Аристархами: мне их не судить и не переспорить. Судья им тот же Шиллер, на которого они так часто ссылаются; надеюсь, что Шиллера никто не обвинит в намерениях противунравственных; между тем он сильно в своих полемических сочинениях восстает на нравоучительную теорию в поэзии<sup>7</sup>.

Еще вопрос: виноват ли будет твой портной, если мундир, сшитый им для совсем иного употребления, ты наденешь в цели не нравственной, напр<имер>, с тем, чтоб вскружить голову дурочке, на которую эпoletы, шитье etc. сильно действуют? Виноват ли и поэт, когда глупый школьник или едва вышедший из школы прапорщик читают его нарочно с тем, чтоб найти звуки, стихи и рифмы, в которые могли бы одеть свои нечистые помыслы? <...>

### <1835–1836>. Поэзия и проза

<...> У нас распространяется мнение, что время поэзии минуло, и у нас громче и громче требуют прозы, — дельной, — я чуть было не сказал: *деловой* прозы. Утилитарная система, для которой щей горшок вдесятеро важнее всех богов Гомера, всего мира Шекспира, и у нас с дня на день приобретает новых поклонников. И у нас занятия словесностию перестают считаться призванием (vocation), священством,

трудом бескорыстным и чистым, великим, возвышенным. — Лет пятнадцать назад молодой человек, начиная свое литературное поприще, бился не из многого: если журналист удостоивал принять его статейку о том, другом, третьем, его стишки, конечно, еще слабые, его перевод с французского или немецкого — юноша был доволен; он был совершенно счастлив, когда вдобавок редактор в коротком замечании отзывался о нем с похвалою покровителя, как о таланте, подающем хорошие надежды. Тогда еще редко брали плату за сотрудничество писатели даже опытные; корыстолюбием оживлялись одни почти хозяева (и то не все) наших немногих повременных изданий, — порою, конечно, взиравшие на тщеславную, но великодушную молодежь с улыбкою покровительства и сожаления; они одни, быть может, издевались над явлением, которого они не способны были понять, но которое истинно было прекрасно. — Ныне едва ли найдут повод к подобным насмешкам: народ *поумнел*; ныне и 18-летний стихотворец очень хорошо знает цену деньгам и продает свои элегии.

Еще хуже: и у нас хотят превратить литераторов не в ремесленников (это было бы еще сносно), нет — в гаеров, ломающихся в угоду и для развеселения толпы бессмысленной. И у нас писатель даровитый, ученыости редкой, любимый публикою, писатель, при *других* *понятиях* достойный бы быть ее вождем и наставником, не постыдился подписать имя, конечно, вымышленное, но уже всем известное, под словами, которых, признаюсь, я никак бы <не> ожидал от человека, не чуждого иногда вдохновения. «Стихотворения, — говорит Барон Брамбеус, — стихотворения, то есть поэмы в стихах, и поэмы в прозе, то есть романы, повести, рассказы, всякого рода сатирические и *описательные* (?) творения, назначенные к *мимолетному* *услаждению* образованного человека, — вот область словесности и настоящие ее границы»<sup>1</sup>.

Что до меня, я бы лучше согласился быть сапожником, чем трудиться в *этих* границах и для *этой* цели. <...>

